

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

ИЗ БЫЛОГО

1

ДЕД ЕГОРИЙ

Иногда проснёшься и не веришь, что жизнь, прожитая тобою, — это твоя жизнь и как много в ней уместилось. Хотя ведь “не состоял, не отбывал, не участвовал...” и даже “не служил”. А начнёшь вспоминать хотя бы только детство, не только описать, но даже вспомнить всего не можешь. Одно цепляется за другое, и уже кажется, что ты родом из Руси дремучей, потому что помнишь глиняные самодельные горшки, избу без электричества, так как набожная бабушка считала его бесовским наваждением. Помнишь старушек и девочек, чувашек и мордочек, не умевших говорить по-русски. Помнишь языческие поселения с их странными и дикими кладбищами. А в православных сёлах — в Троицу застланные свежапахучей травой светёлки; объединение на Пасху и граничащие уже с чем-то запретным троекратные поцелуи со сверстницами. Я живу без конца долго.

Та старица находится на полпути от Нечистого моста к Смердному месту — овражистому участку, сплошь заросшему тальником. И называлась она Егор-ерьке. Я всегда гордился, что она названа по имени моего пращура — деда Егория. Он был то ли двоюродный брат, то ли двоюродный дядя моего прадеда. Егорий держал на старице пасеку ещё тогда, когда места эти были совсем глухими: до Ключей — вёрст восемь, а до Ёги — ехать и ехать. Много легенд рассказывалось по Егор-ерьке. Но больше всего мне нравилась та, как дед Егорий водяного змея одолел...

У одного из кинельских перекатов было стойбище. Я его застал уже обжитым, а тогда оно было диким. И стали там пропадать ягнята. Пойдут на водопой, чуть в сторону ступят — и исчезают. Не просто тонут, а проваливаются, или будто их кто глотает...

Пастухи посовещались и решили: “Он...”

Пошли к Егорию.

— Выловить надо. Всем миром поможем.

— Я сам.

— Почему? — опешили мужики.

— Почует вас — не выйдет. А меня одного ему в радость помучить. Гусей готовьте.

Поехали в деревню, привезли гусей. Одного закололи к вечеру и закоптили. Егорий взял острогу, багор и топор, из вил сделал что-то наподобие крюка, надел на него гуся и отплыл на закате.

Плавал вверх от переката и опять вниз, задерживаясь на омурах, подплывая поближе к прибрежным зарослям. И так до утра. Впустую.

К следующему вечеру закоптили второго гуся. Утром Егорий пришёл опять пустой.

Пастухи, что баловались самогонкой и общественной гусятиной, проворчали:

– Не простят бабы.

– А может, надо верёвку удлинить? Чует, что ты близко, вот и не подходит, – предложил старший.

– Тогда топором его не достать, – возразил кто-то.

– Ладно, попробую без топора.

Егорий нацепил третьего гуся, удлинил веревку и отплыл позже обычного. Третья ночь была особенно тихой и тёмной. Пращур всё так же задерживался на омурах и под кустами, расслабляясь лишь у самого переката и под островком, где всегда было тихо. Вот тут-то и рвануло крюк вместе с лодкой! Чуть замешкался Егорий, но всё же сумел подцепить багром, не очень удачно, но так, что, ой, как трудно сорваться.

И понёс его любитель ягнятинки чуть ли не до Горелого хутора. И вниз. И опять вверх. Пару раз дёргал так, что охотник чуть в воду не вывалился. А тут вдруг чувствует, что лодка стала о коряжину биться, вот-вот развалится.

Что делать? А тот развернётся – и опять, и опять. Понял Егорий – разобьётся плоскодонка. Он тогда – в воду, а там...

Сдался, выпустил багор из рук. В глубине что-то аж забурлило, захрипело. Лодка пошла вниз по течению, и лишь на перекате без сил Егорий сел на вёсла.

Пастухам объяснять ничего не стал, а лишь сказал, что ягнята пропадать больше не будут. Так и случилось.

– Бабушка, а кто это был – сом?

– Какой сом?! Он столько сомов перетаскал. У некоторых хвосты аж за телегами по земле тащились.

– А кто же тогда?

– Водяной змей...

Я ещё верю, что в каждой бане живет шишига, и заходить туда не стоит, не перекрестив все углы, особенно под полком. Я знаю, что ведьмака кричит ночами на озере под лесом – с утопленниками играет. Но понимаю, что бояться их не надо, потому что нет ничего сильнее Крестной Силы. И видел, как на Пасху играло Солнце, и, откуда ни возьмись, появилась радуга, да такая, что хоть рукой трогай...

Потом вера моя притупилась, тайны стали исчезать. Но в ночную охоту деда Егория на водяного змея я верил всегда и гордился ею. Верили в неё и все мои сверстники.

Детство. С его тайнами, загадками, детскими страхами... А всё же мы были счастливыми, потому что дважды в день, по дороге на рыбалку и с рыбалки, видим вдали на взгорке голубые купола Ключёвской церкви, чего лишены были многие наши ровесники. Мы – счастливые, но, конечно, ещё не подозреваем об этом. Наше пионерское атеистическое детство просветляется посещениями кладбища в родительские дни и редкими причастиями Святых Тайн. В поселке нашем ещё нет ни одного телевизора, а леса и заводи родины полны любимых ужасов.

А к концу того лета началось то, чего втайне желал каждый из нас: вечерами некоторые коровы стали приходить пустые, выдоенные.

Красть молоко было просто некому – у всех в округе свои коровы. А если кто и захотел бы поживиться, просто бы увёл скотину. И ещё заметили: когда стадо останавливалось на стойбище у Бобринога затона, все коровы возвращались тяжёлые, а от острова у переката, где Егор-ерьке, – одна-две пустые.

Пастухи посоветовались и решили: “Он... вновь объявился... знаю, змеи любят молочко!” В послеобеденный зной коровы заходили глубоко в воду, а он подплывал и выдаивал их, те же, дуры, только радовались, что не тащиться им с огромным выменем до посёлка.

И решили поселяне до конца лета не гонять стадо на старое стойбище, чтобы не испытывать судьбу.

Второго Егория в округе не нашлось, чтобы вновь сразиться со змеем.

2

МИМО НЕЧИСТОГО МОСТА

– Никуда сегодня не поедете, – говорит бабка, – и до разъезда не доберётесь, как заметёт. Забыла, как в самые крещенские Васька Сусан два шага до дома не дошел, у ворот замёрз?

– Так на работу же завтра, а ему – в школу, – уже сдавшись, возражает мать.

– Работа подождёт. А чему его в той школе учат!.. – и бабка вздыхает и машет рукой.

Она берёт у матери сумку и велит нам раздеваться.

Я забираюсь на сундук, смотрю в окно и опять ничего там не вижу. Дед садится у печки и закуривает, а мы втроём снова начинаем пить чай, пахнувший душицей, мятой и ещё какой-то крепкой травой. Хлеб приятно кислит. Не хочется ни завтра в школу, ни сегодня на улицу. Город кажется чем-то далёким и неправдоподобным, будто его и вообще нет, а если и есть, то нет там никакой зимы, никакой метели.

Бабка успокаивается и начинает:

– Помнится, была ещё маленькая, сразу после японской, поехали мы с матерью и отцом на Рождество в Ёгу. Возвращаемся на другой день под вечер, отец всё ещё пьяный под тулупом спит, мать лошадью правит, а я сижу и по сторонам смотрю. Любила я, маленькая, в дороге по сторонам смотреть. Бывало, всю её наперёд знаешь, а всё смотришь, подмечаешь: там стог поставили, здесь старая верба рухнула – и так её, родимую, жалко! Вот и тогда – смотрю я по сторонам, а всё темнеет, темнеет, и погода портится, вьюжит. Потом начала лошадь в снег проваливаться. Мамка заволновалась, то туда повернёт, то сюда, но нигде дороги не видно. Стала она отца будить. Но так и не добудилась. А темень-то, темень кругом, и снег глаза застит. На душе смутно, страх подкрадывается. А тут ещё лошадь взяла и встала. Мать и била её, и уговаривала: “Сивка, Сивушка, пойдём, родимая”. Ни в какую! Да той, наверное, и не слышно было – весь голос пурга съедала. Тут я заревела. Отцово сердце, видать, услышало – проснулся – хмурый, злой. Заставил Сивку пойти. Не знаю, каким чудом, но вышли к мосту. К тому, возле которого сразу после войны волки съели нижеаверкинского чувашина. Помнишь, мясо только на ногах под валенками осталось. По ним и узнали, что это он. Как уж его звали?

– Федей, мам. Молодой, один с гулянки шёл.

– Царствие ему Небесное... Так вот, от этого моста до хутора версты три оставалось. Но чуем, что не доехать нам. Гибель кругом... Смотрим, чуть в сторонке, у самого бугра, огонёк. Откуда ему там взяться, думаем. Отец всё же туда правит. Подъезжаем – изба. Ни метели тебе, месяц светит, ворота настезь. В окнах свет и, слышим, там веселье: песни, гармонь – Рождество кто-то не догулял. Думаем, откуда же здесь изба? Не было ведь никогда. Но всё равно обрадовались. Лишь Сивка упирается и храпит. А из избы народ к нам так и валит – все разодетые, весёлые, поют, пляшут, к себе зовут. А один – здоровенный мужик в полушубке – по всему чувствуется, что хозяин, – из четверти отцу самогон наливает. Только отец руку протянул за стаканом, а другой хотел перекреститься, как хозяина будто передёрнуло. Да и отец как окаменел. Посмотрела я на него, и так страшно мне стало, только не пойму, от чего. Пригляделась получше и вижу, что хозяин и гости все в валенках и сапогах, а следы после них по снегу – как от копыт...

Маменька наша давно это заметила, побелела, что снег, и двинуться не может. И такая тишина кругом... Мёртвая-мёртвая... Тут отец будто что-то вспомнил, перекрестился и говорит: “Сгинь, нечистый!” И мамка себя крестным знаменем осенила и меня крестить стала. Хлестнул отец Сивку, и понесла она нас во мглу! А навстречу такой ураган, какого я с тех пор и не видывала... Не помню, как домой добрались. Только отец уже больше никогда

не пил и табак курить перестал. А мать до самой смерти, скрепя сердце, выезжала под вечер в дорогу. Сивку же вскорости свели на живодёрню, не лошадь стала – пуганая. А мост с тех пор и зовётся Нечистым.

– Мам, не могло такого быть.

– Могло, – говорит дед, – с их родней и не такое могло. Ещё расскажи, как тебе в запрошлом годе...

– Так почему же отец пить бросил, всю жизнь молился и прожил – дай Бог всякому! – не унимается бабка. – И почему мост Нечистым зовётся?

– Так он испокон века Нечистый, – отмахивается дед.

– Не верите – ещё расскажу.

– Мам, пусть ребёнок спать ляжет. Зачем ему на ночь страхи-то слушать?

– Ничего, может, лишний раз лоб перекрестит, – бабка смотрит на меня совсем неласково и говорит: – Иди, ложись, завтра рано подниму.

Я привык к бабкиным рассказам, и поэтому мне совсем не страшно, но всё же с радостью залезаю на печку: там тепло, уютно и пыльно. Сквозь дрему слышу, как бабка с матерью о чём-то разговаривают. А мне вспоминается такое далёкое лето, когда мы с прадедом ходили рыбачить. Это была его последняя рыбалка. Я его всё донимал, почему рыба не ловится. А он глухо отвечал, что она здесь никогда не ловилась...

– А зачем пришли? – Просто... а брёвна эти – остатки Нечистого моста. – Почему Нечистого? – Кто его знает... – Да нет, не сломали, сам рухнул, без догляду. Дорога-то мимо пошла. – Куда? – Кто её знает, куда... мимо. Мимо Нечистого моста, мимо нашего хутора...

И он начинает рассказывать про Николая Божьего Угодника, который уже столько лет странствует по нашей земле и помогает всем страждущим. И если очень верить в его помощь, то он тебе встретится. Да он всегда рядом ходит. – Как узнать? – А вот встретишь – и сразу узнаешь. Сердце-то, оно мудрее головы... и вдруг вздыхает: “Надо было тогда и их перекрестить, а я с испугу так рванул, что чуть Сивку не загнал. А бояться-то их не надо...” – Кого?..

Я засыпаю и сквозь сон чую, как пахнет пересохшими валенками, и запах этот мешается со сладковатым запахом дыма дедовой махорки и с ничем несравнимым запахом лампадного масла.

3

ИВАН-РАЗВЕДЧИК

Вослед деревенскому детству всплывает в памяти и городское.

В то лето я отирался у овощных баз на Товарной, куда прибывали вагоны с арбузами, дынями, душистыми южными яблоками. Подворовывал. Что-то продавал, что-то нёс домой, но большую часть съедал там же, в зарослях высоченной травы.

Но однажды меня накрыли дружинники и здорово напугали, сказав, что сдадут в милицию. Этого мне не нужно было совсем, потому что я уже тогда состоял на учёте именно в линейном отделе.

Я в голос ревел, размазывал по щекам слёзы, обещал больше этого не делать, клялся, что сирота и живу один с глухонемой тёткой. Вот эта несуществующая тётка их и разжалобила.

– Ладно, давай отпустим, – сказал старший.

Я уже стал успокаиваться и решил, когда отпустят, нырнуть за составом в траву – проследить, куда пойдут дружинники, ведь надо же выведать, где у них штаб, чтобы в следующий раз так глупо не попадаться.

Но вдруг тот же старший произнёс:

– Дай слово, что больше не будешь здесь воровать.

– Честное пионерское? – с надеждой спросил я.

– Нет, честное мужское слово.

Я опустил глаза:

– Даю честное мужское слово, что больше не буду здесь воровать.

Так я очутился на базаре.

Шёл, приглядывался и вдруг из-за ящика увидел голову. Голова сказала:

– Подойди.

Ног у него совсем не было. Он то ли сидел, то ли стоял на низкой тележ-

ке с подшипниками вместо колёс. Рядом лежали деревяшки-толкачи, напоминавшие большие утюги.

– На, вот здесь подкрути, – и протянул отвёртку.

Я сделал всё, как велели.

Он достал из холщовой сумки огромное красное яблоко.

– На.

– Спасибо, не надо.

– Бери... Да не прячь ты его – ешь, мытое.

Яблоко хрустнуло...

– Дядь, а вы кто?

– Я – Иван-разведчик. Называй меня просто Иваном. И на “ты”.

Яблоко хрустело...

– Красть ты здесь не будешь.

– Я не краду...

– Я не говорю, крадёшь или нет. Я говорю: не будешь. А денег мы и так заработаем.

Он был коренастый, обветренный и чисто выбритый. Тёмные волосы с проседью. Взгляд прямой и уверенный. Мужик.

Так мы и подружились.

Рано поутру “столбили” торговые места, а потом за небольшую плату сдавали их крестьянам. Сообщали торговцам о вчерашних ценах и ценах на других рынках, за что те иногда одаривали нас своим товаром. Я ещё находил Ивану людей, которым нужно было починить обувь, а он брал её с собой и утром возвращал.

Нас, мальчишек-девчонок, у Ивана всегда было не меньше трёх-четырёх. И когда с похмелья не выходил на работу дворник, мы умудрялись даже базар убрать. Потом у нас появилось своё торговое место, где мы продавали почему-то исключительно репчатый лук. Не свой, естественно, – Иван с кем-то договаривался.

Однажды у него опять ослабела одна из дужек на тележке. И я, наклоняясь, стал опять подвинчивать болт. Из-за ворота рубахи у меня вывалился оловянный крестик на суровой нитке.

И я впервые услышал другой голос Ивана – не жёсткий и властный, а с доброй слезой в глубине:

– Веруешь в Бога?

– Не знаю.

– Когда в последний раз причащался?

– Великим постом.

– Давненько, – вздохнул он.

Я вернул Ивану отвёртку. А он расстегнул на себе рубаху и показал серебряный крест на цепочке и икону на тонком мякинном ремешке.

– Это Георгий Победоносец. Он-то и спас меня в войну. Когда на фронт уходил, мать повесила. Я-то выжил, а она... Крест всегда носишь?

– Только на каникулах. А то, когда на физкультуре переодеваешься, смеются. Надо мной и так смеются – длинный, а бегаю хуже всех. Потому что у меня ноги больные.

– Больные, – хмыкнул Иван. – У меня их вообще нет, а ты видел, чтобы надо мной кто-нибудь смеялся?

– Учителя говорят: ты же пионер.

– Пионер... Впрочем, я тебе не учитель и не судья.

– А кто ты мне, Иван?

– Друг.

И тогда я решился спросить:

– А как у тебя с ногами вышло?

– Мы больше по “языкам” работали. Войдём в тыл к немцам, выследим чин, что постарше, сцапаем – и к своим в штаб. Удачливее меня никого не было. Даже слава пошла по обе стороны фронта. Ну и возгордился. А это последнее дело, как я потом понял. И вляпались мы в Карпатах. Ребят всех положили, а меня зажали так, что бежать некуда. И уже самого взяли как “языка”. Не застрелился, – видно, тогда уже ощущал, что грех жизнь самоубийством кончать... Эсэсовцы из украинской дивизии “Галиция” хуже немцев были. Стали пытаться. Раздели, связали, положили на дощатый настил, и начал один западнянин мне ноги рубить. От самых кончиков пальцев. По санти-

метру. Сознание от боли нестерпимой как бы отключилось, а душою впервые в жизни взмолился Господу. Сколько времени прошло, не знаю, но слышу, будто издали палач мой орет: “Отрублю я этому коммуныке голову!” Коммуныке... Видел же на мне и крест, и иконку. Я сознание-то и потерял совсем. Очнулся уже в госпитале. Потом мне рассказали, что, наверное, эсэсовцы решили, что я умер, – и бросили. А женщина с соседнего хутора подобрала, культи ремнями перетянула. А тут и наши прорвались.

– Иван, а правда, что Жуков всю войну с крестом проходил?

– С двумя. Один – нательный, а другой, говорят, был прицеплен с внутренней стороны мундира – тот, Георгиевский, что ещё в первую германскую заслужил. Поэтому он ни одного сражения не проиграл.

Откуда-то выскочила плюгавая Лариска:

– Иван, лук кончается – дуром берут!

И он поехал договариваться о новой партии лука.

С тех пор мы с Иваном каждый день находили время, чтобы в уединении, насколько это возможно на базаре, – поговорить о вере, о Боге, о Царствии Небесном, которое Иван представлял то как что-то неизъяснимо прекрасное, то, наоборот, – до предельности конкретное и ясное, как морозное утро в заснеженной деревушке, где живут одни братья и сёстры. И как же хотелось поскорее туда!

– Заслужить надо, – вздыхал Иван и неожиданно добавлял: – На крытом рынке, конечно, лучше – купола Петропавловки видны с крестами. Но там много не заработаешь.

Невдалеке остановилась голубая “Волга” на высоких рессорах и со скачущим оленем на капоте. Оттуда вышел солидный седовласый мужчина и направился к двери с табличкой “Дирекция”.

– Интендант пархатый, – без злобы сказал Иван, – я его ещё по Харькову помню – сытого-сытого.

– А что такое интендант?

– Да хуже обозника, – отмахнулся разведчик.

Помолчал, закурил папиросу “Север” и вздохнул:

– Мы умрём, а эти будут жить долго, славу на себя возьмут и ещё перед немцами извиняться будут.

– Как это – перед немцами извиняться?

– А так. Но, даст Бог, не доживу до этого.

Поговаривали, что Иван был запойным. Что заводился с полустакана, а потом валялся среди мусорных бачков и выкрикивал что-то бранное и непонятное. Но я его никогда не видел пьяным. Даже от предложенной кружки пива он отказывался и говорил мне: “Никогда не пей и не кури – не пакостись”.

– А сам куришь.

– Так что ж в этом хорошего! – и, чуть помолчав, промолвил: – К тому же это не самый страшный мой грех.

– А какой самый страшный?

– Людей убивал...

– Сам же говорил, что это были враги Божьи.

– А вдруг попадались и другие? Чем дольше живёшь, тем больше сомневаешься, – и достал папиросу, но, взглянув на меня, спрятал обратно...

К вечеру за Иваном приезжала Анастасия, статная, со следами былой красоты. Она сажала его на специально приспособленную тележку, он прихватывал свой “самокат” и извечную холщовую сумку, и они отправлялись в путь. Она, высокая и прямая, везла за собой коренастого, крепкого и безногого добытчика.

Однажды я спросил Ивана:

– Анастасия тебе – кто? Одни говорят – жена, другие – что сестра. Разве так может быть?

– Может быть всё, если на то воля Божья. Анастасия – моя хозяйка.

На базаре Ивана не то чтобы любили, а – чттили. Почти каждый торгующий норовил дать ему что-нибудь из своего товара. Но он брал не у всех. А если что и брал, то обычно тут же отдавал местному дурачку, которого я подзревал в том, что он лишь притворяется дурачком, чтобы кусочек полакомее перехватить.

Я вообще не знаю, оставлял ли Иван себе что-нибудь из дарёного, ведь сколько раз видел, как он доставал из сумки то горсть урюка, то мандарин и отдавал какой-нибудь старухе, торгующей на улице травами или грибами:

– Возьми, Марковна, внучку угостишь.

– Спаси тебя Господи, Ванюша.

Но однажды он не появился на базаре. Не появился он ни на второй день, ни на третий. Врали, что Иван умер. Никто из нас, конечно, не верил. А дурочек за такие слова даже вцепился зубами в руку одного из торговцев, да так, что тот взвыл.

Потом я проживу много лет, почти целую жизнь, и не буду вспоминать об Иване-разведчике. Помнить-то я его буду всегда, но в самой глубине души, куда не пускают никого – ни мать, ни любимую женщину, ни друга. А явится он передо мной неожиданно, во всей своей мощи и беспощадности. В светлом и страшном октябре 93-го. На Смоленской в Москве. Когда меня будут забивать откормленные ельцинские омоновцы. Когда, теряя сознание, подумаю, как о чём-то постороннем: как они не устанут? Как им не надоест это однообразие – всю жизнь – ногами – лежачего? И – хруст, хруст, хруст...

Но чья-то сильная рука резко дернет меня с мостовой. Офицер. Почти с меня ростом, но чуть постарше и намного здоровее. Майор.

Оттащит в сторону, залезет во внутренний карман и достанет студиное удостоверение.

– Что же ты, режиссёр, не своим делом занимаешься? Тебе здесь надо с камерой работать, а не против нас с голыми руками. Куда тебе против нас!

И потащит от Смоленской к Сивцеву Вражку. И дорогой всё будет объяснять, что есть “менты” и есть такие, как он, – другие. Что он тоже русский. И на нём тоже крест есть... Чуть углубившись в кривую улочку, мы остановимся.

– Один дальше доковыляешь?

– Да (я тогда жил в самой глубине Арбата, в Малом Власьевском, в доме рядом с тем особняком, откуда одержимый Булгаков запускал в полёт свою Маргариту). Да, – повторю я и, сделав несколько шагов, обернусь. Майор всё будет стоять и смотреть на меня. И я скажу:

– Майор! Я верю, что ты отличный мужик, но ты – не Иван-разведчик.

Он ничего не поймёт, но обидится. Хотя и попытается сделать вид, что просто ничего не понял. Потом повернётся, как-то сразу ссутулится и пойдёт... В противоположную от меня сторону.

А минут через пять я буду валяться в своей комнатухе на самодельном лежаке и думать, что, по сути, я ничем не лучше того совестливого майора, потому что тоже – не Иван-разведчик.

Через год, уже в Самаре, из окна второго этажа увижу высокую и прямую женщину. За собой она будет везти тележку с коренастым и безногим человеком, держащим в руках две деревяшки, похожие на утюги. Я вскочу, чтобы выбежать на улицу. Но тут же сяду. Зачем? Вблизи можно и обознаться, а издали и так хорошо видно, что это Иван-разведчик со своей хозяйкой. Через квартал они должны повернуть налево, в Покровский собор, ведь сегодня – Покров Божьей Матери. Год назад, когда на расстрелянной площади в Москве поминали убиенных, Она Сама явилась в небе над Москвой. Её видели тысячи православных!

Через полчаса я встану и тоже пойду в храм, но в другой. Потому что в Покровском побоюсь встретиться с Иваном. Вдруг он меня узнает и, как всегда, скажет что-нибудь прямо: например, что я не стал тем, кем должен был стать...

Всех Иванов-разведчиков, кем бы им ни довелось быть в этом дольном мире, да помянет Господь Бог во Царствии Своём!